

А. ШОПЕНГАУЭР

[НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ]

[...] Всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер, [...] поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым должно последовать или новое страдание, или *languor*, беспредметная тоска и скука,— это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни — в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самое счастье, постоянное и окончательное. Оно ведет своего героя к цели через тысячи затруднений и опасностей, но как только она достигнута, занавес быстро опускается. Ибо теперь оставалось бы лишь показать, что сиявшая цель, в которой герой мечтал найти свое счастье, только насмеялась над ним, и что после ее достижения ему не стало лучше прежнего. Так как действительное, постоянное счастье невозможно, то оно и не может быть объектом искусства (стр. 331).

[ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЖИЗНИ]

[...] Судьба, точно желая к горести нашего бытия присоединить еще насмешку, сделала так, что наша жизнь, должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены проходить все детали жизни в неизбежной пошлости характеров комедии (стр. 333).

[МИР — ОБИТЕЛЬ СТРАДАНИЯ]

Если, наконец, каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым во всякое время подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет; и если провести самого закоренелого оптимиста по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, застенкам, логовищам невольников, через поля битвы и места казни; если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, и если напоследок дать ему заглянуть в башню голода Уголино, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это за *meilleur des mondes possibles* ". Да и откуда взял *Данте* материал для своего ада, как не из нашего действительного мира? И тем не менее получился весьма порядочный ад. Когда же, наоборот, перед ним возникла задача изобразить небеса и их блаженство, то он оказался в неодолимом затруднении именно потому, что наш мир не дает материала ни для чего подобного. Вот почему Данте не оставалось ничего другого, как воспроизвести перед нами вместо наслаждений рай те поучения, которые достались ему там в удел от его прародителя, от Беатриче и разных святых. Это достаточно показывает, каков наш мир.

[БЕССОВЕСТНОСТЬ ОПТИМИЗМА]

[...] *Оптимизм*, если только он не бессмысленное словоизвержение таких людей, за плоскими лбами которых не обитает ничего, кроме слов, представляется мне не только нелепым, но и постыдным *бессовестным* воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества (стр. 336—337).

[В ЧЕЛОВЕКЕ ЭГОИЗМ ДОСТИГАЕТ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ. «ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»]

[...] В то время как всякий непосредственно дан самому себе как целая воля и целое представляющее, остальные даны ему прежде всего только в качестве его представлений; вот почему собственное существо и его сохранение важнее для него, чем все остальные, взятые вместе. На свою собственную смерть всякий смотрит как на конец мира, между тем как известие о смерти своих знакомых он выслушивает довольно равнодушно, если только она не затрагивает его личных интересов в сознании, поднявшемся на самую высокую ступень, в сознании человеческом, эгоизм, как и познание, страдание, удовольствие, должен был тоже достигнуть высшей степени, и обусловленное им соперничество индивидуумов проявляется самым ужасным образом. Мы видим его повсюду, как в мелочах, так и в крупном; мы видим его и в страшных событиях — в жизни великих тиранов и злодеев как в опустошительных войнах; мы видим его и в смешной форме — там, где оно служит сюжетом комедии и очень своеобразно отражается в самолюбии и суетности, которые так несравненно постиг и описал *in abstracto*⁵³ Ларошфуко; мы видим его в истории мира и в собственной жизни. Но явственнее всего оно тогда, когда любое собрание людей освобождается от всякого закона и порядка: сейчас же наглядно выступает то *bellum omnium contra omnes*⁵⁴, которое прекрасно изобразил Гоббс в первой главе *De cive*⁵⁵ (стр. 344).

(НЕСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА К ПОЛНОМУ ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭГОИЗМА, ЗЛА И СТРАДАНИЙ)

{...} Мы признали в государстве средство, с помощью которого эгоизм, вооруженный разумом, старается избежать своих же собственных дурных последствий, направляющихся против него самого; при этом каждый спешествует благу всех, так как видит, что в последнем заключается и его собственное. Если бы государство вполне достигло своей цели, то оно, будучи в состоянии посредством объединенных в нем человеческих сил все более и более покорять себе и остальную природу, в конце концов уничтожило бы всякого рода злополучия и могло бы до известной степени обратиться в нечто похожее на кисельное царство. Но, во-первых, оно все еще очень далеко от этой цели; во-вторых, другие все еще бесчисленные горести, присущие жизни как таковой, по-прежнему держали бы ее во власти страдания, и если бы даже всё они и были устранены, то каждое место, покинутое заботами, сейчас же занимала бы скука; в-третьих, государство никогда и не может совершенно подавить раздора индивидуумов, так как он в мелочах дразнит там, где его изгоняют в крупном; и, наконец, Эрида⁵⁶, благополучно вытолкнутая изнутри, напоследок обращается к

внешней границе: изгнанная государственным укладом как соперничество индивидуумов, она возвращается извне как война народов и, подобно возросшему долгу, требует сразу и в большой сумме тех кровавых жертв, которые в мелочах были отторгнуты у нее разумной предусмотрительностью. И если даже предположить, что умудренное опытом тысячелетий человечество все это наконец одолеет и устранил, то последним результатом оказался бы действительный избыток населения всей планеты, а весь ужас этого может себе теперь представить только смелое воображение (стр. 363).

[ЭТИКА СОСТРАДАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭГОИЗМА)

[...] Из того же источника, откуда вытекают всякая доброта, любовь, добродетель и великодушие, исходит наконец и то, что я называю отрицанием воли к жизни.

(...). Если в глазах какого-нибудь человека пелена Майи⁵⁷, *principium individuationis*⁵⁸, стала так прозрачна, что он не делает уже эгоистической разницы между своей личностью и чужой, а страдание других индивидуумов принимает так же близко к сердцу, как и свое собственное, и потому не только с величайшей радостью предлагает свою помощь, но даже готов жертвовать собственным индивидуумом, лишь бы спасти этим несколько чужих, то уже естественно, что такой человек, во всех существах узнающий себя, свое сокровенное и истинное Я, должен и бесконечные страдания всего живущего рассматривать как свои собственные и приобщить себя несчастью Вселенной. Ни одно" страдание ему не чуждо более. Все горести других, которые он видит и так редко может облегчить, все горести, о которых он узнает косвенно, и даже те, которые он считает только возможными, действуют на его дух как личные. Уже не об изменчивом счастье и горе своей личности думает он, как это делает человек, еще одержимый эгоизмом; нет все одинаково близко ему, ибо он прозрел в *principium individuationis*. Он познает целое, постигает его сущность и находит его погруженным в вечное исчезновение, ничтожное стремление, внутреннее междоусобие и постоянное страдание, и всюду, куда бы ни кинул он взоры, видит он страждущее человечество, страждущих животных и преходящий мир. И все это лежит теперь к нему в такой же близости, как для эгоиста его собственная личность. И разве может он, увидев мир таким, тем не менее утверждать эту жизнь постоянной деятельностью воли и все теснее привязываться к ней, все теснее прижимать ее к себе. Если тот, кто еще находится во власти *principii individuationis*, эгоизма, познает только отдельные вещи и их отношение к его личности, и они поэтому служат источником все новых и новых *мотивов* для его хотения, то, наоборот, описанное познание целого, сущности вещей в себе, становится *квиетивом*⁵⁹ всякого хотения. Воля отворачивается от жизни; она содрогается теперь перед ее радостями, в которых видит ее утверждение. Человек доходит до состояния добровольного отречения, резигнации, истинной безмятежности и совершенного отсутствия желаний (стр. 392 — 394).

[УКРОЩЕНИЕ ВОЛИ И ПЕРЕХОД К ЧИСТОМУ ПОЗНАНИЮ]

[...] Легко понять, как блаженна должна быть жизнь того, чья воля укрошена не на миг, как при эстетическом наслаждении, а навсегда и даже совсем погасла вплоть до той последней тлеющей искры, которая поддерживает тело и потухнет вместе с ним. Такой человек, одержавший наконец решительную победу после долгой и горькой борьбы с собственной природой, остается еще на земле лишь как существо чистого познания, как неомраченное зеркало мира. Его ничто уже больше не может удручать, ничто не волнует, ибо все тысячи нитей хотения, которые связывают нас с миром и в виде алчности, страха, зависти, гнева влекут нас в беспрерывном страдании туда и сюда, эти нити он обрезал. Спокойно и улыбаясь оглядывается он на призраки этого мира, которые некогда могли волновать и терзать его душу, но которые теперь для него столь же безразличны, как шахматные фигуры после игры, как сброшенные поутру маскарадные костюмы, тревожившие и манившие нас в ночь карнавала. Жизнь и ее образы носятся теперь перед ним как мимолетные видения подобно легким утренним грезам' человека наполовину проснувшегося,— грезам, сквозь которые уже просвечивает действительность и которые не могут больше обманывать: и как они, так испаряются наконец и эти видения, без насильственного перехода (стр. 405—406).

[САМОУБИЙСТВО НЕ ОТРИЦАНИЕ ВОЛИ, А ЯВЛЕНИЕ МОГУЧЕГО ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ)

Ц.-J *Самоубийство*. Нисколько не будучи отрицанием воли, оно, напротив — феномен могучего утверждения ее. Ибо сущность отрицания состоит в том, что человек отвергает не муки жизни, а наслаждения. Самоубийца хочет жизни и недоволен только условиями, при которых она ему дана. Поэтому он отказывается вовсе не от воли к жизни, а только от самой жизни, разрушая её отдельное проявление.

[БЕСПЛОДНОСТЬ И БЕЗУМИЕ САМОУБИЙСТВА, САМОУБИЙСТВО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ВЕЩИ В СЕБЕ]

[...] Самоубийство, добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, которая остается незабываемой, как незабываема радуга, несмотря на быструю смену своих мимолетных носителей-капель,— самоубийство представляет собой совершенно бесплодный и безумный поступок. Но кроме того, оно — шедевр Майи, как самое вопиющее выражение разлада, противоречия воли к жизни с самой собой. Как это противоречие мы встречали уже среди низших проявлений воли, где оно выражалось в беспрестанной борьбе всех обнаружений сил природы и всех органических индивидуумов — борьбе из-за материи, времени и пространства; как оно с ужасающей явственностью все более и более выступало на восходящих ступенях объективации воли,— так, наконец, на высшей ступени, которая есть идея человека, оно достигает особой энергии; и здесь не только истребляют друг друга индивидуумы, представляющие собой одну и ту же идею, но и один и тот же индивидуум объявляет войну самому себе, и напряженность, с которой он хочет жизни и с которой отражает ее помеху — страдание, доводит его до самоуничтожения, так что индивидуальная воля

скорее разрушит своим актом тело, т. е. свою же собственную видимость, чем страдание сломит волю (стр. 413—415).

[ПОЗНАНИЕ ВОЛЕЙ СВОЕЙ СУЩНОСТИ — ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СВОБОДЫ ВОЛИ)

[...] Как раз то, что христианские мистики называют благодатью и возрождением, служит для нас единственным непосредственным проявлением *свободы воли*. Оно наступает лишь тогда, когда воля, достигнув познания своей сущности, обретает для себя в результате этого познания квинтэссенцию и тем освобождается от действия мотивов, лежащего в сфере другого способа познания, объектами которого служат только явления. Возможность такого обнаружения свободы составляет величайшее преимущество человека, вовеки чуждое животному, так как ее, этой возможности, условием является обдуманность разума, которая поз-

воляет независимо от впечатления настоящего озирать жизнь в ее целом. Животное лишено всякой возможности свободы, как лишено даже и возможности действительного, т. е. обдуманного выбора решений, предваряемого законченным конфликтом мотивов, которые для этого должны были бы быть отвлеченными представлениями. Поэтому с такой же точно необходимостью, с какой камень падает на землю, голодный волк вонзает свои зубы в мясо дичины, не имея возможности познать, что он одновременно и терзаемый, и терзающий. *Необходимость — царство природы, свобода — царство благодати* (стр. 419—420).

[УГАШЕНИЕ ВОЛИ К ЖИЗНИ. ВМЕСТЕ СО СВОБОДНЫМ ОТРИЦАНИЕМ ВОЛИ УПРАЗДНЯЮТСЯ ВСЕ ЯВЛЕНИЯ)

Если мы [...] познали внутреннюю сущность мира как волю и во всех его проявлениях увидели только ее объектность, которую проследили от бессознательного порыва темных сил природы до сознательной деятельности человека, то мы никак не можем избежать вывода, что вместе со свободным отрицанием, отменой воли, упраздняются и все те явления, то беспрестанное стремление и искание без цели и без отдыха, на всех ступенях объектности, в которых и через которые существует мир, упраздняется разнообразие преемственных форм, упраздняются с волей все ее проявления и, наконец, общие формы последнего, время и пространство, как и последняя основная форма его — субъект и объект. Нет воли — нет представления, нет мира.

[РАСТВОРЕНИЕ В НИЧТО И ПОЛНОЕ УСПОКОЕНИЕ ДУХА]

Пред нами остается, конечно, только ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа, есть именно только воля к жизни, которой являемся мы сами, как и она является нашим миром. То, что нас так страшит ничто, есть лишь иное выражение того, что мы так сильно хотим жизни и сами не что иное, как эта воля, и не знаем ничего, кроме нее.

Но если мы от нашей личной нужды и зависимости обратим свои взоры на тех, которые преодолели мир, в которых воля, достигнув полного самопознания, вновь нашла себя во всем и затем свободно сама себя отинула и которые ожидают только момента, когда они увидят, как исчезнет ее последняя искра и с нею тело, которое она животворит, то вместо

беспрестанной борьбы и сутолоки, вместо вечного перехода от желания к страху и от радости к страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и никогда не замирающей надежды, в чем и проходит сон жизни волящего человека,— вместо всего этого нам предстанет тот мир, который выше всякого разума, та полная тишь духа, тот глубокий покой, несокрушимое упование и ясность, одно только отражение которых на лице, как его воспроизвели Рафаэль и Корреджо, есть полное и надежное Евангелие: осталось только познание, воля исчезла (стр. 426—427).

Шопенгауэр Л. Мир как воля и представление // Антология мировой философии: в 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 698—704

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. — М.: Политиздат, 1991. — С. 92 — 98.

Ф. НИЦШЕ

Из книги «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

Мои произведения называли школой подозрения, еще более — школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и — выражаясь богословски — в качестве врага и допросчика Бога... И сколько лживости мне еще нужно, чтобы я мог всегда сызнова позволять себе роскошь моей правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она ищет заблуждения, она живет заблуждением (1.1.232-233).

Однако все возникло; не существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин. Следовательно, отныне необходимо историческое философствование, а вместе с ним и добродетель скромности (1.1.240).

Мы — изначально нелогичные и потому несправедливые существа и можем познать это; и это есть одна из величайших и самых неразрешимых дисгармоний бытия (1.1.260).

...Никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждения разума (1.1.301).

Со свободой мнений дело обстоит так же, как со здоровьем: то и другое индивидуально, в том и другом нельзя установить общеобязательного понятия. То, что одной личности необходимо для ее здоровья, есть для другой уже источник заболевания, и многие пути и средства к свободе духа будут более развитым натурам представляться путями и средствами к рабству (1.1.391).

Война необходима. Только мечтательность и прекраснотушие могут ожидать от человечества еще многого, — когда оно разучится вести войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые могли бы так же сильно и

верно, как всякая война, внушить слабеющим народам такую грубую походную энергию... Культура отнюдь не может обойтись без страстей, пороков и злобы (1.1.449-450).

Первая мысль дня. Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Если бы это могло быть признано возмещением религиозной привычке к молитве, то наши ближние имели бы выгоду от этой перемены (1.1.470).

Из книги «ВЕСЕЛАЯ НАУКА»

...Мы, философы, не вольны проводить черту между душой и телом, как это делает народ... Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно установленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок (1.1.495).

Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым, принадлежит к удивительной экономии сохранения рода, разумеется, дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор убедительным образом сохраняла наш род (1.11.513).

Сохраняющие род. Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспламеняли засыпающие страсти — всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, — они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов... Новое, однако, при всех обстоятельствах есть злое, нечто покоряющее, сияющее ниспровергнуть старые межевые знаки и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! (1.П.518).

А что если удовольствие и неудовольствие так тесно связаны друг с другом, что тот, кто хочет иметь возможно больше первого, должен иметь возможность больше и второго...? И, пожалуй, так оно и есть! ...Выбор... Если вознамеритесь... подавить и уменьшить страдания человека, ну, так вам придется подавить и уменьшить также и способность к наслаждениям (1.П.523—524).

Жить — это значит: постоянно отбрасывать от себя то, что хочет умереть; жить — это значит: быть жестоким и беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас и не только в нас (1.П.535).

После того, как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень в одной пещере — чудовищную, страшную тень. Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. — И мы, мы должны победить еще и его тень! (1.П.582).

Итак: способность познания лежит не в степени его истинности, а в его старости, его органической усвоенности, его свойстве быть условием жизни.... Познание, таким образом, становилось неким подобием самой жизни, и как жизнь некой постоянно возрастающей властью... (1.11.584—585).

Стадный инстинкт. Там, где мы задаем мораль, там находим мы расценку и иерархию человеческих стремлений и поступков. Эта оценка и иерархия всегда оказывается выражением потребностей общины и стада: то, что идет нам на пользу..., — это служит высшим масштабом при оценке каждого в отдельности. Морально каждый побуждается быть функцией стада и лишь в качестве таковой приписывает себе ценности. Поскольку условия сохранения одной общины весьма отличались от условий сохранения другой, то существовали весьма различные морали, и с точки зрения предстоящих еще существенных преобразований стад и общин, государств и обществ можно решиться на пророчество, что впереди предстоят еще весьма различные морали. Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке (1.1.588).

Безумный человек. Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога!... Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц!... Какой водой можем мы очиститься? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» (1.1.592—593).

Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. *Amog fati* [любовь к судьбе]: пусть это будет отныне моей любовью! (1.1.624).

Ибо, поверь мне! — тайна пожинать величайшие плоды и величайшее наслаждение от существования зовется: опасно жить! Стройте свои города у Везувия! Посылайте свои корабли в неизведанные моря! Живите, воюя с равными вам и с самими собой! Будьте разбойниками и завоевателями, покуда вы не можете быть повелителями и владетелями, вы, познающие! (1.1.628).

И моральная Земля кругла! И у моральной Земли есть свои антитезы! И у антиподов есть свои права на существование! Предстоит еще открыть Новый свет — и не один! По кораблям, вы, философы! (1.1.630).

Все, что имеет ценность в нынешнем мире, имеет ее не само по себе, не по своей природе — в природе нет никаких ценностей, но оттого, что ему однажды придали ценность, подарили ее, и этими деятелями и дарителями были мы! Только мы и создали мир, до которого есть какое-то дело человеку! (1.1.638).

Да, друзья мои! Пробил час отвращения ко всей моральной болтовне одних в адрес других!... Мы же хотим стать тем, что мы есть, — новыми, неповторимыми, несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самих-творящими! (1.1.655).

Что если бы днем или ночью подкрался бы к тебе... некий демон и сказал бы тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз; и ничего в ней не будет нового... Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!»... Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: «хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесконечное количество раз?» — величайшей тяжестью лег бы на твои поступки! (1.1.660).

Величайшее из новых событий — что «Бог умер» и что вера в Христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои первые тени... Но... само событие слишком еще велико, слишком отдалено, слишком недоступно восприятию большинства... Впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, — к примеру, вся наша европейская мораль (1.1.662).

Вера всегда больше всего жаждется, упорнее всего взыскуется там, где не достает воли: ибо воля, как аффект поведения, и есть решительный признак самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет некто повелевать, тем назойливее влечется он к тому, кто повелевает, и повелевает строго, — к Богу, монарху, званию, врачу, духовнику, догме, партийной совести (1.1.668).

Борьба за существование есть лишь исключение, временное ограничение воли к жизни; великая и малая борьба идет всегда за перевес, за рост и распределение, за власть, сообразно воле к власти, которая и есть как раз воля к жизни (1.1.671).

Из книги «ЗЛАЯ МУДРОСТЬ»

Мое сильнейшее свойство — самопреодоление. Но оно же по большей части оказывается и моей нуждой — я всегда стою на краю бездны (1.1.721).

Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь; наконец, он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не утоляет его любви (1.1.728).

Из книги «ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА»

И Заратустра говорил так к народу: Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?

...Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян. ...Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! Сверхчеловек — смысл земли! (1.И.8).

Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью. ...В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель (1.Н.9).

Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий. ...Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель. Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных (1.11.34).

Государство? Что это такое? ...Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, есмь народ». Это — ложь! ...Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав. Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле — этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах. Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет — и что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно: краденными зубами кусает оно, зубастое (1.11.35).

Там, где кончается государство, и начинается человек, не являющийся лишним: там начинается песнь необходимых, мелодия единожды существующая и невозвратная. Туда, где кончается государство, — туда смотрите, братья мои! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? — Так говорил Заратустра (1.11.37).

Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки; если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед. Много, что у одного народа называлось добром, у другого называлось глумлением и позором — так нашел я. Много, что нашел я, здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести. Никогда один сосед не понимал другого: всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа. Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодолений его; взгляни, это голос воли его к власти. Похвально то, что кажется ему трудным; все неизбежное и трудное называет он добром... Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое (1.11.42).

О любви к ближнему. Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. ...Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего! Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам... Не о ближнем учу я вас, но о друге. Пусть друг будет для вас праздником земли и предчувствием сверхчеловека... Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему (1.П.43—44).

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидаящая воля. Могли бы вы создать Бога? — Так не говорите же мне о всяких богах! Но вы несомненно могли бы создать сверхчеловека.

...Могли бы вы мыслить Бога? — Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства должны продумать до конца! И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им! И поистине для вашего блаженства, вы, познающие! И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды, вы, познающие? Вы не должны быть однородны с непостижимым и неразумным (1.П.60).

О самопреодолении. ...Вашу волю и ваши ценности спустили вы на реку становления; старая воля к власти брезжит мне в том, во что верит народ как в добро и зло... Все живое есть нечто повинующееся. И вот вопрос: тому повелевают, кто не может повиноваться самому себе. Таково свойство всего живого. Но вот третье, я слышал: повелевать труднее, чем повиноваться. ...Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином. Чтобы сильнейшему служил более слабый — к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господином над еще более слабым: лишь без этой радости не может он обойтись (1.11.82).

И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. «Смотри, — говорила она, — я всегда должна преодолевать самое себя. Конечно, вы назовете это волей к творению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному — но все это образует единую тайну. ...Что бы ни создавала я и как бы не любила я созданное — скоро должна я стать противницей ему и моей любви: так хочет моя воля» (1.11.82—83).

Так гласит моя любовь к самым дальним: не щади своего ближнего. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Существует много путей и способов преодоления — ищи их сам! Преодолей самого себя даже в своем ближнем: и право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать тебе! Что делаешь ты, этого никто не может возместить тебе. ...Кто не может повелевать себе, должен повиноваться! (1.11.143).

«Хотеть» освобождает: ибо хотеть значит созидать, — так учу я. И только для созидания должны вы учиться! (1.11.149).

Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия (1.П.158).

Из книги «ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА»

...Большей частью сознательного мышления философа тайно руководят его инстинкты, направляющие это мышление определенными путями. Да и позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида. ...Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, быть может, самый странный из наших парадоксов. Вопрос о том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, поддерживает вид, даже, возможно, способствует воспитанию вида... (1.11.243).

Физиологам следовало бы поразмыслить насчет взгляда на инстинкт самосохранения как на кардинальный инстинкт органического существа. Прежде всего нечто живое хочет проявлять свою силу — сама жизнь есть воля к власти: самосохранение есть только одно из косвенных и многочисленных следствий этого (1.11.250).

Вся психология не могла до сих пор отделаться от моральных предрассудков и опасений: она не отважилась проникнуть в глубину. Понимать ее как морфологию и учение о развитии воли к власти, как ее понимаю я, — этого еще ни у кого даже в мыслях не было... (1.11.258).

Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. – М., 1990.

Цит. по: Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 1997. – С. 78 – 85.

Э. ФРОММ

ЧЕЛОВЕК— ВОЛК ИЛИ ОВЦА?

Многие полагают, что люди это овцы, другие считают их хищными волками. Каждая из сторон может аргументировать свою точку зрения. Тот, кто считает людей овцами, может указать хотя бы на то, что они с легкостью выполняют приказы других, даже когда им самим это приносит вред. Он может также сказать, что люди снова и снова следуют за своими вождями на войну, которая не дает им ничего, кроме разрушения, что они верят несурзаце, если она излагается с надлежащей настойчивостью и подкрепляется властителями от прямых угроз священников и королей до вкрадчивых голосов более или менее тайных оболъстителей. Кажется, что большинство людей, как дремлющие дети, легко поддаются влиянию и что они готовы безвольно следовать за любым, кто, угрожая или заискивая, достаточно упорно их уговаривает. Человек с сильными убеждениями, пренебрегающий противодействием толпы, является скорее исключением, чем правилом. Он часто вызывает восхищение последующих столетий, но, как правило, является посмешищем в глазах своих современников.

Великие инквизиторы и диктаторы основывали свои системы власти как раз на предпосылке, что люди являются овцами. Именно мнение, согласно которому люди овцы и потому нуждаются в вождях, принимающих за них решение, нередко придавало самим вождям твердую убежденность, что они выполняли вполне моральную, хотя под час и весьма трагичную, обязанность: принимая на себя руководство и снимая с других груз ответственности и свободы, они давали людям то, что те хотели.

Однако, если большинство людей овцы, почему они ведут жизнь, которая полностью этому противоречит? История человечества написана кровью. Это история никогда не прекращающегося насилия, поскольку люди почти всегда подчиняли себе подобных с помощью силы. Разве Талаат-паша сам убил миллионы армян? Разве Гитлер один убил миллионы евреев? Разве Сталин

один убил миллионы своих политических противников? Нет. Эти люди были не одиноки, они располагали тысячами, которые умерщвляли и пытали для них и которые делили это не просто с желанием, но даже с удовольствием. Разве мы не сталкиваемся повсюду с бесчеловечностью человека в случае безжалостного ведения войны, в случае насилия и убийства, в случае беззащитной эксплуатации слабых более сильными? А как часто стоны истязаемого и страдающего создания встречаются глухие уши и ожесточенные сердца! Такой мыслитель, как Гоббс, из всего этого сделал вывод: человек человеку волк. И сегодня многие из нас приходят к заключению, что человек от природы является существом злым и деструктивным, что он напоминает убийцу, которого от любимого занятия может удержать только страх перед более сильным убийцей.

И все же аргументы обеих сторон не убеждают. Пусть мы лично и встречали некоторых потенциальных или явных убийц и садистов, которые по своей беззащитности могли бы тягаться со Сталиным или Гитлером. Но все же это были исключения, а не правила. Неужели мы действительно должны считать, что сами и большинство обычных людей только волки в овечьей шкуре, что наша, «истинная любовь» якобы проявится лишь после того, как мы отбросим сдерживающие факторы, мешавшие нам до сих пор уподобиться диким зверям? Хоть это и трудно оспорить, вполне убедительным такой ход мысли тоже не является. В повседневной жизни часто есть возможность для жестокости и садизма, причем их нередко можно проявить, не опасаясь возмездия. Тем не менее многие на это не идут и, напротив, реагируют с отвращением, когда сталкиваются с жестокостью и садизмом.

Может быть, есть другое, лучшее объяснение этого удивительного противоречия? Может быть ответ прост и заключается в том, что меньшинство волков живет бок о бок с большинством овец? Волки хотят убивать, овцы хотят делать то, что им приказывают. Волки заставляют овец убивать и душить, а те поступают так не потому, что это доставляет им радость, а потому что они хотят подчиняться. Кроме того, чтобы побудить большинство овец действовать, как волки, убийцы должны придумать истории о правоте своего дела, о защите свободы, которая находится в опасности, о мести за детей, заколотых штыками, об изнасилованных женщинах и поруганной чести. Этот ответ звучит убедительно, но и после него остается много сомнений. Не означает ли он, что существует как бы две человеческие расы волков и овец? Кроме того, возникает вопрос; если это не в их природе, то почему овцы с такой легкостью соблазняются поведением волков, когда насилие представляют им в качестве священной обязанности. Может быть, сказанное о волках и овцах не соответствует действительности? Может быть, все же правда, что важным свойством человека является нечто волчье и что большинство просто не проявляет этого открыто? А может, речь вообще не должна идти об альтернативе? Может быть, человек это одновременно и волк и овца или он ни волк, ни овца?

Сегодня, когда нации взвешивают возможность применения опаснейшего оружия разрушения против своих «врагов» и, очевидно, не страшатся даже собственной гибели в ходе массового уничтожения, ответ на эти вопросы имеет решающее значение. Если мы будем убеждены, что человек от природы склонен к разрушению, что потребность применять насилие коренится глубоко в его существе, то может ослабнуть наше сопротивление все возрастающей жестокости. Почему нужно сопротивляться волкам, если все мы в той или иной степени волки? Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, это лишь заостренная формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к основополагающим проблемам теоретического и философского мышления западного мира, а именно: является ли человек по существу злым или порочным, или он добр по своей сути и способен к самосовершенствованию? Старый Завет не считает, что человек порочен в своей основе. Неповиновение Богу со стороны Адама и Евы не рассматривается как грех. Мы нигде не находим указаний на то, что это неповиновение погубило человека. Напротив, это неповиновение является предпосылкой того, что человек осознал самого себя, что он стал способен решать свои дела. Таким образом, этот первый акт неповиновения в конечном счете является первым шагом человека по пути к свободе. Кажется, что это неповиновение было даже предусмотрено божьим планом. Согласно пророкам, именно благодаря тому, что человек был изгнан из рая, он оказался в состоянии сам формулировать свою историю, развивать свои человеческие силы и в качестве полностью развитого индивида достигнуть гармонии с другими людьми и природой. Эта гармония заступила на место прежней, в которой человек еще не был индивидом. Мессианская мысль пророков явно исходит из того, что человек в своей основе непорочен и может быть спасен помимо особого акта божьей милости.

Конечно, этим еще не сказано, что способность к добру обязательно побеждает. Если человек творит зло, то он и сам становится более дурным. Так, например, сердце фараона «ожесточилось», поскольку он постоянно творил зло. Оно ожесточалось настолько, что в определенный момент для него стало совершенно невозможно начать все заново и покаяться в содеянном. Примеров злодеяний содержится в Старом Завете не меньше, чем примеров праведных дел, но в нем ни разу не делается исключения для таких возвышенных образов, как царь Давид. С точки зрения Старого завета человек способен и к хорошему и к дурному, он должен выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между жизнью и смертью. Бог никогда не вмешивается в это решение. Он помогает, посылая своих посланцев, пророков, чтобы наставлять людей, каким образом они могут распознавать зло и осуществлять добро, чтобы предупреждать их и возражать им. Но после того, как это уже свершилось, человек остается наедине со своими «двумя инстинктами» — стремлением к добру и стремлением к злу, теперь он сам должен решать эту проблему.

Христианское развитие шло иначе. По мере развития христианской церкви появилась точка зрения, что неповиновение Адама было грехом,

причем настолько тяжким, что он погубил природы самого Адама и всех его потомков. Теперь человек не мог больше собственными силами освободиться от этой порочности. Только акт божьей милости, появление Христа, умершего за людей, может уничтожить эту порочность и спасти тех, кто уверует в Христа.

Разумеется, догма о первородном грехе не оставалась бесспорной внутри самой церкви. На нее напал Пелагий, однако ему не удалось одержать верх. В период Ренессанса гуманисты внутри церкви пытались смягчить эту догму, хотя они прямо не боролись с ней и не оспаривали ее, как это делали многие еретики. Правда, Лютер был еще более радикален в своем убеждении о врожденной подлости и порочности человека, но в то же время мыслители Ренессанса, а позже и Просвещения отважились на заметный шаг в противоположном направлении. Последние утверждали, что все зло в человеке является лишь следствием внешних обстоятельств и потому у человека в действительности нет возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда изначальное добро в человеке проявится почти автоматически. Эта точка зрения повлияла также на мышление Маркса и его последователей. Вера в принципиальную доброту человека возникла благодаря тому новому самосознанию, приобретенного в ходе неслыханного со времен Ренессанса экономического и политического прогресса. Моральное банкротство Запада, начавшееся с первой мировой войной и приведшее через Гитлера и Сталина, через Ковентри и Хиросиму к нынешней подготовке всеобщего уничтожения, наоборот, повлияло на то, что снова стала сильнее подчеркиваться склонность человека к дурному. По существу, это была здоровая реакция на недооценку врожденного потенциала человека к злу. С другой стороны, слишком часто это служило причиной осмеяния тех, кто еще не потерял веру в человека, причем точка зрения последних понималась ложно, а подчас и намеренно искажалась...

Главной опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек, наделенный необычной властью. Однако, для того чтобы миллионы поставили на карту свою жизнь и стали убийцами, им необходимо внушить такие чувства, как ненависть, возмущение, деструктивность и страх. Наряду с оружием эти чувства являются непременным условием для ведения войны, однако они не являются причиной, так же как пушки и бомбы сами по себе не являются причиной войн. Многие полагают, что атомная война в этом смысле отличается от войны традиционной. Тот, кто нажатием кнопки запускает атомные бомбы, каждая из которых способна унести сотни тысяч жизней, едва ли испытывает те же чувства, что и солдат, убивающий с помощью штыка или пулемета. Но даже если запуск атомной ракеты в сознании упомянутого лица переживается только как послушное исполнение приказа, все же остается вопрос: не должны ли содержаться в более глубоких слоях его личности деструктивные импульсы или, по меньшей мере, глубокое безразличие по отношению к жизни для того, чтобы подобное действие вообще стало возможным?

Я хотел бы остановиться на трех феноменах, которые, по моему мнению, лежат в основе наиболее вредной и опасной формы человеческого ориентирования: любовь к мертвому, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное фиксирование. Вместе взятые, эти три ориентации образуют «синдром распада», который побуждает человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти. Я хотел бы также обсудить «синдром роста», который состоит из любви к живому, любви к человеку и независимости. Лишь у немногих людей получил новое развитие один из этих двух синдромов. Однако нет сомнения в том, что каждый человек движется в определенном избранном им направлении: в направлении к живому или мертвому, добру или злу.

Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу // Человек и его ценности. – М., 1988. – С. 56 – 62.

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 61 – 66.

По своей телесной организации и физиологическим функциям человек принадлежит к животному миру. Жизнь животных определяется инстинктами, некоторыми моделями поведения, детерминированными в свою очередь наследственными неврологическими структурами. Чем выше организовано животное, тем более гибки его поведенческие модели и тем более не завершена к моменту рождения структура его приспособленности к окружающей среде. У высших приматов можно наблюдать даже определенный уровень интеллекта и использование мышления для достижения желаемых целей. Таким образом, животное способно выйти за пределы своих инстинктов, предписанных поведенческими моделями. Но каким бы впечатляющим ни было развитие животного мира, основные элементы его существования остаются все те же.

Животное «проживает» свою жизнь благодаря биологическим законам природы. Оно часть природы и никогда не трансцендирует ее. У животного нет совести морального порядка, нет осознания самого себя и своего существования. У него нет разума, если понимать под разумом способность проникать сквозь данную нам в ощущениях поверхность явлений и постигать за ней суть. Поэтому животное не обладает и понятием истины, хотя оно может иметь представление о том, что ему полезно.

Существование животного характеризуется гармонией между ним и природой. Это естественно, не исключает того, что природные условия могут угрожать животному и принуждать его ожесточенно бороться за свое выживание. Здесь имеется в виду другое: животное от природы наделено способностями, помогающими ему выжить в таких условиях, которым оно противопоставлено, точно также как семя растения «оснащено» природой для того, чтобы выжить, приспособившись к условиям почвы, климата и т. д. в ходе эволюции.

В определенной точке эволюции живых существ произошел единственный в своем роде поворот, который сравним только с появлением

материи, зарождением жизни или появлением животных. Новый результат возник тогда, когда в ходе эволюционного процесса поступки в значительной степени перестали определяться инстинктами. Приспособление к природе утратило характер принуждения, действие больше не фиксировалось наследственными механизмами. В момент, когда животное трансцендировало природу, когда оно вышло за пределы предназначенной ему чисто пассивной роли тварного существа, оно стало (с биологической точки зрения) самым беспомощным из всех животных родился человек. В данной точке эволюции животное благодаря своему вертикальному положению эмансипировалось от природы, его мозг значительно увеличился в объеме по сравнению с другими самыми высокоорганизованными видами. Рождение человека могло длиться сотни тысяч лет, однако в конечном результате оно привело к возникновению нового вида, который трансцендировал природу. Тем самым жизнь стала осознавать саму себя.

Осознание самого себя, разум и сила воображения разрушили «гармонию» характеризующую существование животного. С их появлением человек становится аномалией, причудой универсума. Он часть природы, он подчинен ее физическим законам, которые не может изменить, и тем не менее он трансцендирует остальную природу. Он стоит вне природы и тем не менее является ее частью. Он безроден и тем не менее крепко связан с родом, общим для него и всех других тварей. Он заброшен в мир в случайной точке и в случайное время и так же случайно должен его снова покинуть. Но поскольку человек осознает себя, он понимает свое бессилие и границы своего существования. Он предвидит собственный конец смерть. Человек никогда не свободен от дихотомии своего существования: он уже не может освободиться от своего духа, даже если бы он этого хотел, и не может освободиться от своего тела, пока он живет, а его тело будит в нем желание жить.

Разум, благословение человека, одновременно является и его проклятием. Разум принуждает его постоянно заниматься поисками решения неразрешимой дихотомии. Жизнь человека отличается в этом плане от жизни всех остальных организмов: он находится в состоянии постоянной неизбежной неуравновешенности. Жизнь не может быть «прожита» путем постоянного повторения модели своего вида. Человек должен жить сам. Человек единственное живое существо, которое может скучать, которое может чувствовать себя изгнанным из рая. Человек единственное живое существо, которое ощущает собственное бытие как проблему, которую он должен разрешить и от которой он не может избавиться. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с природой. Он должен развивать свой разум, пока не станет господином над природой и самим собой.

Но с онтогенетической и филогенетической точек зрения рождение человека в значительной мере явление негативное. У человека нет инстинктивной приспособленности к природе, у него нет физической силы: в момент своего рождения человек самый беспомощный из всех живых

созданий и нуждается в защите гораздо дольше, чем любое из них. Единство с природой им было утрачено, и в то же время он не был обеспечен средствами, которые позволили бы ему вести новую жизнь вне природы. Его разум в высшей степени рудиментарен. Человек не знает природных процессов и не обладает инструментами, которые смогли бы заменить ему утраченные инстинкты. Он живет в рамках небольших групп и не знает ни самого себя, ни других. Его ситуацию наглядно представляет библейский миф о рае. В саду Эдема человек живет в полной гармонии с природой, но не осознает самого себя. Свою историю он начинает с первого акта непослушания заповеди. Однако с этого момента человек начинает осознавать себя, свою обособленность, свое бессилие; он изгоняется из рая, и два ангела с огненными мечами препятствуют его возвращению.

Эволюция человека основывается на том, что он утратил свою первоначальную Родину природу. Он никогда уже не сможет туда вернуться, никогда не сможет стать животным. У него теперь только один путь: покинуть свою естественную родину и искать новую, которую он сам себе создаст, в которой он превратит окружающий мир в мир людей и сам станет действительно человеком.

Родившись и положив тем самым начало человеческой расе, человек должен был выйти из надежного и ограниченного состояния, определяемого инстинктами. Он попадает в положение неопределенности, неизвестности и открытости. Известность существует только в отношении прошлого, а в отношении будущего она существует лишь постольку, поскольку данное знание относится к смерти, которая в действительность является возвращением в прошлое, в неорганическое состояние материи. В соответствии с этим проблема человеческого существования единственная своего рода проблема в природе. Человек «выпал» из природы и все же еще находится в ней. Он отчасти как бы бог, отчасти животное, отчасти бесконечен и отчасти конечен. Необходимость искать новые решения противоречий его существования, все более высокие формы единения с природой, окружающими людьми и самим собой выступает источником всех психических сил, которые побуждают человека к деятельности, а также источником всех его страстей, аффектов и страхов.

Животное довольно, когда удовлетворены его естественные потребности голод, жажда, сексуальная потребность. В той степени, в какой человек является животным, эти потребности властны и над ним и должны быть удовлетворены. Но поскольку он существо человеческое, удовлетворения этих инстинктивных потребностей недостаточно, чтобы сделать его счастливым. Их недостаточно даже для того, чтобы сделать его здоровым. «Архимедов» пункт специфики человеческой динамики находится в этой неповторимости человеческой ситуации. Понимание человеческой психики должно основываться на анализе тех потребностей человека, которые вытекают из условий его существования...

Человека можно определить как живое существо, которое может сказать «Я», которое может осознать самого себя как самостоятельную величину.

Животное живет в природе и не трансцендирует, оно не осознает себя, и у него нет потребности в самоидентификации. Человек вырван из природы, наделен разумом и представлениями, он должен сформировать представление о самом себе, должен иметь возможность говорить и чувствовать «Я есть Я». Поскольку он не проживает, а живет, поскольку он утратил первоначальное единство с природой, должен принимать решения, осознавать себя и окружающих его людей в качестве разных лиц, у него должна быть развита способность ощущать себя субъектом своих действий. Наряду с потребностью в соотнесенности, укорененности и трансценденции его потребность в самоидентификации является настолько жизненно важной и властной, что человек не может чувствовать себя здоровым, если он не найдет возможности ее удовлетворить. Самоидентификация человека развивается в процессе освобождения от «первичных связей», привязывающих его к матери и природе. Ребенок, который чувствует свое единство с матерью, не может еще сказать «Я», и у него нет этой потребности. Только когда он постигнет внешний мир как нечто отдельное и обособленное от себя, ему удастся осознать самого себя как отдельное существо, и «Я» это одно из последних слов, которые он употребляет, говоря о самом себе.

В развитии человеческой расы степень осознания человеком самого себя как отдельного существа зависит от того, насколько он освободится от ощущения тождества клана и насколько далеко продвинулся процесс его индивидуации. Член примитивного клана выразит ощущение самоидентификации в формуле: «Я есть Мы». Такой человек не может еще понять себя в качестве «индивида», существующего вне группы. В средневековье человек идентифицирован со своей общественной ролью в феодальной иерархии. Крестьянин не был человеком, который случайно стал крестьянином, а феодал не был человеком, который случайно стал феодалом. Он был феодалом или крестьянином, и чувство неизменности его сословной принадлежности являлось существенной составной частью его самоидентификации. Когда в последствии произошел распад феодальной системы, ощущение самоидентификации было основательно поколеблено и перед человеком остро встал вопрос: «Кто я?», или, точнее сказать: «Откуда я знаю, что я это я?». Это именно тот вопрос, который в философской форме сформулировал Декарт. На вопрос о самоидентификации он ответил: «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, я мыслю, следовательно, я существую». В этом ответе сделан акцент только на опыте «Я» в качестве субъекта любой мыслительной деятельности и упущено из виду то обстоятельство, что «Я» переживается также в процессе чувствования и творческой деятельности.

Западная культура развивалась таким образом, что создала основу для осуществления полного опыта индивидуальности. Посредством предоставления индивиду политической и экономической свободы, посредством его воспитания в духе самостоятельного мышления и освобождения от любой формы авторитарного давления предполагалось дать

возможность каждому отдельному человеку чувствовать себя в качестве «Я» в том смысле, чтобы он был центром и активным субъектом своих сил и чувствовал себя таковым. Но лишь меньшинство достигло такого опыта «Я». Для большинства индивидуализм был не более чем фасадом, за которым скрывался тот факт, что человеку не удалось достичь индивидуального отождествления.

Принимались попытки найти и были найдены некоторые суррогаты подлинно индивидуального самоотождествления. Поставщиками такого рода самоотождественности служат нация, религия, класс, профессия. «Я – американец», «я – протестант», «я – предприниматель», таковы формулы, которые помогают человеку отождествить себя после того, как им было утрачено первоначальное ощущение тождества клана, и до того, как было найдено настоящее индивидуальное самоотождествление. В нашем современном обществе различные виды идентификаций обычно применяются вместе. Речь в данном случае идет обычно о статусных идентификациях в широком смысле, и такие идентификации являются более действенными, если они, как это имеет место в европейских странах, тесно связаны с феодальными пережитками. В Соединенных Штатах, где феодальные пережитки дают о себе знать не так сильно и где общество более динамично, подобные статусные идентификации, конечно, не имеют такого значения, и самоотождествление все больше и больше смещается в направлении переживания конформизма.

До тех пор пока я не отклонюсь от нормы, пока я являюсь таким же, как другие, я признан ими в качестве «одного из нас», я могу чувствовать себя как «Я». Я – это «Кто, никто, сто тысяч», как озаглавил одну из своих пьес Пиранделло. Вместо доиндивидуалистического тождества клана развивается новое тождество стадо, в котором самоотождествление покоится на чувстве несомненной принадлежности к стаду. То, что этот униформизм и конформизм часто не бывают распознаны и скрываются за иллюзией индивидуальности, ничего не меняет, по сути дела.

Проблема самоотождественности не является чисто философской проблемой или проблемой, которая затрагивает наш дух и мышление, как это обычно принято думать. Потребность в эмоциональном самоотождествлении исходит из самих условий человеческого существования и служит источником наших интенсивных устремлений. Поскольку я не могу оставаться душевно здоровым без чувства «Я», я пытаюсь сделать все, чтобы добиться данного ощущения. За страстным стремлением к статусу и конформизму скрывается та же потребность, и иногда она даже сильнее, чем потребность в физическом выживании. Явное тому доказательство готовность людей рисковать своей жизнью, жертвовать своей любовью, отказаться от своей свободы и собственного мышления только ради того, чтобы стать членом стада, идти с ним в ногу и достичь таким образом самоотождествления, даже если оно иллюзорно...

Фромм Э. Пути из больного общества// Проблема человека в западной философии. – М., 1988. – С. 443 – 446, 477 – 480.

Цит. по: Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Политиздат, 1991. – С. 66 – 70.

Ж.-П. САРТР

Из трактата «БЫТИЕ И НИЧТО»

...По появлении человека среди бытия, его «облекающего», открывается мир. Но исходный и существенный момент этого появления — отрицание. Так мы добрались до первого рубежа нашего исследования: человек есть бытие, благодаря которому возникает ничто. Но вслед за этим ответом тотчас возникает другой вопрос: что такое человек в его бытии, если через человека в бытие приходит ничто? Бытие может продолжать лишь бытие, и если человек включен в этот процесс порождения, выйти из него он может, лишь выходя за пределы бытия. Коль скоро человек способен вопрошать об этом процессе, то есть ставить его под вопрос, предполагается, что он может обзреть его как совокупность, то есть выводить самого себя за пределы бытия, ослабляя вместе с тем структуру бытия. Однако человеческой реальности не дано нигилировать (*n'eantir*)¹ массу бытия, ей предстоящего, пусть даже временно. Человеческой реальности дано лишь видоизменять свое отношение с этим бытием. Для нее выключить из обращения то или иное существующее — значит выключить саму себя из обращения по отношению к этому существующему. В таком случае оно выскальзывает из существующего, становится для него недостижимой, не зависимой от его воздействий, она отступила по ту сторону ничто. Декарт, вслед за стоиками, назвал эту способность человека — способность выделять ничто, его обособляющее, — свободой. Но «свобода» пока что только слово. Если мы хотим проникнуть в проблему дальше, нельзя удовлетвориться этим ответом, теперь следует задаться вопросом: что такое свобода человека, если путем ее порождается ничто?.. (1.98—99).

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто (Извлечения) // Человек и его ценности. – Ч. 1. – М., 1988.

Цит. по: Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 1997. – С. 244 – 245.

Из лекции «ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ - ЭТО ГУМАНИЗМ»

...Свобода не может быть понята и описана как обособленная способность человеческой души. Мы старались определить человека как бытие,

¹ *N'eantir* — слово, введенное автором «Бытия и ничто». «Нигилировать» — значит заключать что-то в оболочку небытия. Нигилирование, по Сартру, — отличительная особенность существования сознания, «человеческой реальности»: сознание существует как сознание, постоянно выделяя ничто между собой и своим объектом. Слово «нигилирование» представляется нам более точным, нежели переводы-кальки типа «неантизация». — *Прим. перев.*

обуславливающее появление ничто, и это бытие явилось нам как свобода. Таким образом свобода — как условие, необходимое для нигилирования ничто, — не может быть отнесена к числу свойств, характеризующих сущность бытия человека. Выше мы уже отмечали, что существование человека относится к его сущности иначе, чем существование вещей мира — к их сущности. Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, благодаря которому последняя становится возможной, сущность бытия человека подвешена в его свободе. Итак, то, что мы называем свободой, неотлично от бытия «человеческой реальности». О человеке нельзя сказать, что он сначала есть, а затем — он свободен; между бытием человека и его «свободобытием» нет разницы.

...наш исходный пункт — это субъективность индивида, он обусловлен и причинами чисто философского порядка. Не потому, что мы буржуа, а потому, что мы хотим иметь учение, основывающееся на «истине, а не на ряде прекрасных теорий, которые обнадеживают, не имея под собой реального основания. В исходной точке не может быть никакой другой истины, кроме: «Я мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная истина сознания, постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека вне этого момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину, поскольку вне картезианского *cogito* все предметы лишь вероятны, а учение о вероятностях, не опирающееся на истину, низвергается в пропасть небытия. Чтобы определять вероятное, нужно обладать истинным. Следовательно, для того чтобы существовала хоть какая-нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина проста, легко достижима и доступна всем, она схватывается непосредственно.

Далее, наша теория — единственная теория, придающая человеку достоинство, единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий материализм ведет к рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как предметов, то есть как совокупности тех качеств и явлений, которые образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим создать царство человека как совокупность ценностей, отличную от материального царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не является строго индивидуальной субъективностью, поскольку, как мы показали, в *cogito* человек открывает не только самого себя, но и других людей. В противоположность философии Декарта, в противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через *cogito*, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и притом — как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, также, впрочем, как и для моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и

другого, как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие.

Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации меняются: человек может родиться рабом в языческом обществе, феодальным сеньором или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не субъективны и не объективны, скорее, они имеют объективную и субъективную стороны. Объективны они потому, что встречаются повсюду и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, что переживаемы; они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком, который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к ним. И хотя проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому что все они представляют собой попытку преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или приспособиться к ним. Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был, обладает универсальной значимостью. Любой проект, будь то проект китайца, индейца или негра, может быть понят европейцем. Может быть понят — это значит, что европеец 1945 года может точно так же идти от постигнутой им ситуации к ее пределам, что он может воссоздать в себе проект китайца, индейца или африканца. Любой проект универсален в том смысле, что понятен каждому. Это не означает, что данный проект определяет человека раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, — достаточно иметь необходимые сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности человека, которая, однако, не дана заранее, но постоянно создается. Выбирая себя, я создаю всеобщее. Я создаю его, понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи. Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером свободного действия, посредством которого каждый человек реализует себя, реализуя в то же время определенный тип человечества, — действия, понятного любой эпохе и любому человеку, и относительностью культуры, которая может явиться следствием такого выбора. Необходимо отметить вместе с тем относительность картезианства и абсолютность картезианской позиции. Если хотите, в этом смысле каждый из нас существо абсолютное, когда он дышит, ест, спит или действует тем или иным образом. Нет никакой разницы между свободным бытием, бытием-

проектом, существованием, выбирающим свою сущность, и абсолютным бытием. И нет никакой разницы между локализованным во времени абсолютным бытием, то есть расположенным в истории, и универсально постижимым бытием (2.335—337).

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989.

Цит. по: Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 1997. – С. 245 – 248.

А. КАМЮ

Из книги «МИФ О СИЗИФЕ. ЭССЕ ОБ АБСУРДЕ»

На нижеследующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсюду, — о чувстве, а не о философии абсурда, собственно говоря, нашему времени неизвестной. Элементарная честность требует с самого начала признать, чем эти страницы обязаны некоторым современным мыслителям. Нет смысла скрывать, что я буду их цитировать и обсуждать на протяжении всей этой работы.

Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои размышления предварительны: нельзя сказать, к какой позиции они приведут. Здесь вы найдете только чистое описание болезни духа, к которому пока не примешаны ни метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова ее единственная предвзятость.

АБСУРД И САМОУБИЙСТВО

Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное — имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями — второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа — за ним последуют определенные действия. Эту очевидность чувствует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума.

Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить можно по действиям, которые следуют за решением. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг

Солнца, Солнце ли вокруг Земли — не все ли равно? Словом, вопрос этот пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их мнению жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основанием их жизни (то, что называется причиной жизни, оказывается одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов (1.24—25).

МИФ О СИЗИФЕ

Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.

...Уже из этого понятно, что Сизиф — абсурдный герой. Таков он и в своих страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений — он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем представить только напряженное тело, сию же минуту поднимающее огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону, видим сведенное судорогой лицо, прижатую к камню щеку, плечо, удерживающее покрытую глиной тяжесть, оступающуюся ногу, вновь и вновь поднимающие камень руки с измазанными землей ладонями. В результате многих и размеренных усилий, в пространстве без неба, во времени без начала и конца, цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз.

Сизиф интересует меня во время этой паузы. Его изможденное лицо едва отличимо от камня! Я вижу этого человека, спускающегося тяжелым, но ровным шагом к страданиям, которым нет конца. В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание, неотвратимое, как бедствия. И каждое мгновение, спускаясь с вершины в логово богов, он выше своей судьбы. Он тверже своего камня.

Этот миф трагичен, поскольку его главный герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела, о нем он думает во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение (1.90—91).

Из эссе «БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Есть преступления, внушенные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой. Чтобы различить их, уголовный кодекс пользуется удобства ради таким понятием, как «предумышленность». Мы живем в эпоху мастерски выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже не те наивные дети, которые, умоляя простить их, ссылались на овладевшую ими страсть. Это люди зрелого ума, и неопровержимым оправданием служит им философия, благодаря которой даже убийца оказывается в роли судьи.

Хитклиф, герой «Грозового перевала», готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только овладеть Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой. Хитклиф способен на убийство, но дальше этого его мысль не идет. В его преступной решимости чувствуется сила страсти и характера. Поскольку такая любовная одержимость — дело редкое, убийство остается исключением из правила. Подобное убийство столь же примитивно, как взлом квартиры. Но с того часа, когда по недостатку темперамента преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того часа, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, распространяется так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом.

Пусть никого не возмущает сказанное. Цель моего эссе — осмыслить реальность логического преступления, характерного для нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это попытка понять нашу современность. Некоторые, вероятно, считают, что эпоха, за полстолетия обездолившая, поработившая или уничтожившая семьдесят миллионов людей, должна быть только и прежде всего осуждена. Но необходимо еще и понять суть ее вины. В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль — ясной. Но законы для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, — такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться. В своем эссе я стремлюсь принять этот необычный вызов, с тем чтобы как можно глубже понять его.

Необходимо разобраться, способна ли невинность предпринять усилия, препятствующие убийству. Мы можем действовать только в собственную эпоху среди окружающих нас людей. Мы ничего не сможем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому

или косвенному убийству, мы не можем действовать, не зная заранее, каким образом и по какой причине мы поневоле сеем гибель.

Нам не столь важно, в который уже раз докапываться до сути вещей, сколь насущно знать, как себя вести в мире, каков он есть. Во времена отрицания не бесполезно поставить перед собой вопрос о самоубийстве. Во времена идеологий необходимо разобраться, каково твое отношение к убийству. Если для него находятся оправдания, значит наша эпоха и мы вполне соответствуем друг другу. Если же таких оправданий нет, это означает, что мы пребываем в безумии, и нам остается всего один выход: либо соответствовать эпохе убийства, либо отвернуться от нее. Во всяком случае нужно четко ответить на вопрос, поставленный перед нами среди крови и криков нашего столетия. Ведь мы сами под вопросом. Тридцать лет тому назад, прежде чем решиться на убийство, люди отрицали многое, отрицали даже самое себя посредством самоубийства. Бог плурует в игре, а вместе с ним и все смертные, включая меня самого, следовательно, не лучше ли мне умереть: самоубийство было проблемой. Сегодня идеология отрицает только чужих, объявляя их нечестными игроками. И каждое утро украшенные медалями душегубы вламываются в камеры-одиночки: проблемой стало убийство.

Оба рассуждения связаны друг с другом. Они все больше держат нас в своей власти, да так крепко, что мы уже не можем сами выбирать себе проблемы. Это они, проблемы, поочередно выбирают нас. Примем же нашу избранность. Перед лицом бунта и убийства мое эссе ставит себе целью продолжить размышления, начальными предметами которых были самоубийство и абсурд.

Но пока это размышление подвело нас только к одному понятию — понятию абсурда. Оно в свою очередь не дает нам ничего, кроме противоречий во всем, что касается проблемы убийства. Когда пытаешься извлечь из абсурда правила действия, обнаруживается, что благодаря этому чувству убийство воспринимается в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать какую-либо ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов «за», нет доводов «против», и убийцу невозможно ни осудить, оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными — никакой разницы. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.

Тогда приходишь к решению вообще не действовать, а это означает, что ты миришься с убийством, которое совершено другим. Тебе же остается разве что сокрушаться о несовершенстве человеческой природы. А почему бы еще не подменить действие трагическим дилетантизмом? В таком случае человеческая жизнь становится ставкой в игре. Можно, наконец замыслить действие не совсем бесцельное. И тогда, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет ориентировано на непосредственный результат. Если нет ни ложного, ни истинного, ни плохого, ни хорошего,

правилом становится его собственная максимальная эффективность, то есть сила. И тогда надо разделять людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Так что, с какой стороны ни смотреть, дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место.

Следовательно, если мы хотим принять абсурдную установку, мы должны быть готовы убивать, повинаясь логике, а не совести, которая будет представляться нам чем-то иллюзорным. Разумеется, для убийства необходимы некоторые склонности. Впрочем, как показывает опыт, не такие уж ярко выраженные. К тому же, как это обычно и бывает, всегда есть возможность совершить убийство чужими руками. Все можно уладить во имя логики, если с логикой здесь и вправду считаются.

Но логика не может найти применение в установке, которая поочередно представляет убийство допустимым и недопустимым. И все-таки, признав убийство этически нейтральным, анализ абсурда приводит в конце концов к его осуждению, и это самый важный вывод. Последним итогом абсурдного рассуждения является отказ от самоубийства и участие в отчаянном противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной¹. Самоубийство означало бы конец этой конфронтации, в то время как абсурдное рассуждение видит в самоубийстве отрицание собственных предпосылок. Ведь самоубийство — это бегство от мира или избавление от него. А согласно этому рассуждению жизнь является единственным подлинно необходимым благом, благодаря которому только и возможна названная выше конфронтация. Вне человеческого существования пари абсурда немислимо: в таком случае отсутствует одна из двух необходимых для тяжбы сторон. Заявить, что жизнь абсурдна, способен только живой, обладающий сознанием человек. Каким же образом, не делая значительных уступок интеллектуальному комфорту, сохранить для себя единственное в своем роде преимущество подобного рассуждения? Признав, что жизнь, будучи благом для тебя, является таковым для всех других. Невозможно оправдать убийство, если отказываешь в оправдании самоубийству. Ум, усвоивший идею абсурда, безоговорочно допускает возможность рокового убийства, убийства по страсти, но не принимает убийства рассудочного. В контексте упомянутой выше конфронтации убийство, по сути дела, равноценно самоубийству. Принимая или отвергая одно из них, неизбежно примешь или отвергнешь другое.

Поэтому абсолютный нигилизм, считающий самоубийство вполне законным актом, с тем большей легкостью признает законность убийства. Наше столетие охотно допускает, что убийство может быть оправдано, и причина такого допущения кроется в безразличии к жизни, свойственном нигилизму. Конечно, то были эпохи, когда жажда жизни достигала такой силы, что выливалась и в злодеяния. Но эти эксцессы были подобны ожогу нестерпимого наслаждения, у них нет ничего общего с тем монотонным

¹ См.: Миф о Сизифе.

порядком, который устанавливает принудительная логика, все и всех укладывающая в свое прокрустово ложе. Подобная логика выпестовала понимание самоубийства как ценности, доходя даже до таких крайних последствий, как узаконенное право лишить человека жизни. Эта логика достигает своей кульминации и в коллективном самоубийстве. Гитлеровский апокалипсис 1945 года — самый яркий тому пример. Уничтожить самих себя было слишком мало для безумцев, готовивших в своем логове настоящий апофеоз смерти. Суть и соль состояли не в том, чтобы уничтожить самих себя, а в том, чтобы увлечь с собой в могилу целый мир. В определенном смысле человек, обрекающий на смерть лишь себя, отрицает все ценности, кроме одной — права на жизнь, которым обладают другие люди. Доказательством этому служит факт, что самоубийца никогда не губит ближнего, используя ту гибельную силу и страшную свободу, которые он обретает, решившись на смерть. Всякое самоубийство в одиночку, если только оно совершается не в отместку, по-своему великодушно или же исполнено презрения. Но ведь презирают во имя чего-то. Если мир безразличен самоубийце, значит он представляет, что для него небезразлично или же могло бы быть таковым. Самоубийца полагает, что он все разрушает и все уносит с собой в небытие, но сама его смерть утверждает некую ценность, которая, быть может, заслуживает, чтобы ради нее жили. Самоубийства недостаточно для абсолютного отрицания. Последнее означало бы абсолютное разрушение, уничтожение и самого себя, и всего существующего. Во всяком случае, жить абсолютным отрицанием можно только при условии, что всячески стремишься к этому искусительному пределу. Убийство и самоубийство — две стороны одной и той же медали — несчастного сознания, которое мукам ограниченности человеческого удела предпочитает темный восторг, в котором сливаются, уничтожаясь, и земля и небо.

Точно так же, если отрицаешь доводы в пользу самоубийства, не найдешь их и в пользу убийства. Нельзя быть нигилистом наполовину. Абсурдное рассуждение не может одновременно сохранять жизнь того, кто его проводит, и допускать принесение в жертву других. Стоит признать невозможность абсолютного отрицания, чтобы тем самым признать: первое, что не подлежит отрицанию — это жизнь ближнего. Таким образом, ход рассуждений, приведший к мысли о безразличности убийства, снимает затем доводы в его пользу. То есть мы снова оказываемся в не имеющей оправдания ситуации, из которой пытались найти выход. На практике подобное рассуждение убеждает нас одновременно, что убивать можно и что убивать нельзя. Оно приводит нас к противоречию, не дав ни одного аргумента за или против легитимации убийства. Мы угрожаем и сами находимся под угрозой; мы во власти охваченной лихорадочным нигилизмом эпохи и тем не менее в одиночестве; с оружием в руках и со сдавленным горлом.

* * *

Но это основное противоречие влечет за собой множество других, если ты стремишься устоять среди абсурда, не подозревая при этом, что абсурд — это жизненный переход, отправная точка, экзистенциальный эквивалент философского сомнения Декарта. Абсурд есть противоречие в самом себе.

Он противоречив по своему содержанию, поскольку, стремясь утверждать жизнь, отказывается от ценностных суждений, а ведь жизнь, как таковая, уже есть ценностное суждение. Дышать — значит судить. Разумеется, ошибочно утверждать, что жизнь есть постоянный выбор. Но верно и то, что невозможно вообразить жизнь, лишенную всякого выбора. При таком упрощенном подходе осуществленная абсурдная позиция невообразима. Она столь же невообразима и в своем выражении. Вся философия бессмысленности жива противоречивостью того явления, которое она выражает. Тем самым она вносит некий минимум связности в бессвязность; она вводит последовательность в то, что, если ей верить, не имеет последовательности. Сама речь связует. Единственно логичной позицией, основанной на бессмысленности, было бы молчание, если бы молчание, в свою очередь, ничего не означало. Совершенный абсурд нем. Если он говорит, это значит, что он любит себя или, как мы увидим в дальнейшем, считает себя переходным состоянием. Это самолюбование, самопочитание ясно? показывает глубинную двусмысленность абсурдной позиции. Некоторым образом абсурд, который хочет показать человека в его одиночестве, заставляет его жить перед зеркалом. Первоначальный душевный надрыв рискует, таким образом, стать комфортабельным. Рана, растравляемая с таким усердием, в конце концов может стать источником наслаждения.

Мы не испытываем недостатка в великих авантюристах абсурда. Но в конечном счете их величие измеряется тем, что они отказались от любования абсурдом, сохраняя его требования. Они разрушают ради большего, а не ради меньшего. «Мои враги те, — говорит Ницше, — кто хочет разрушать, а не творить самих себя». Сам он разрушал, но с тем, чтобы попытаться творить. Он прославляет честность, бичуя «свинорылых» жуиров. Абсурдное рассуждение противопоставляет самолюбованию отказ от него. Оно провозглашает отказ от развлечений и приходит к добровольному самоограничению, к молчанию, к странной аскезе бунта. Рембо, воспевающий «хорошенькое преступленье, мяукающее в уличной грязи», бежит в Харрар, чтобы только то и делать, что жаловаться на бессемейную жизнь. Жизнь была для него «фарсом, в котором играют все без исключения». Но вот что выкрикивает он сестре перед самой смертью: «Я ухожу в землю, а вот ты будешь бродить под солнцем!».

* * *

Итак, абсурд в качестве жизненного правила противоречив. Что же удивительного в том, что он не дает нам тех ценностей, которые узаконили бы для нас убийство? Впрочем, невозможно обосновать позицию на какой-либо излюбленной эмоции. Чувство абсурда — это такое же чувство, как и

остальные. Тот факт, что между двумя войнами чувство абсурда окрасило собой столько мыслей и поступков, доказывает только его силу и его законность. Но интенсивность чувства еще не означает его всеобщего характера. Заблуждение любой эпохи заключалось в том, что она открывала или мнила, что открывает, всеобщие правила поведения, основываясь на чувстве отчаяния, которое в своем развитии стремится выйти за собственные пределы. Как большие муки, так и большие радости могут послужить началом размышления; они движут им. Но невозможно обрести эти чувства и поддерживать их во время всего рассуждения. Следовательно, если есть резон учитывать восприимчивость к абсурду, ставить диагноз обнаруженной у себя и у других болезни, тогда возможно усматривать в такой восприимчивости лишь отправную точку, критику, основанную на жизненном опыте, экзистенциальный эквивалент философского сомнения. Это означает, что необходимо покончить с игрой зеркальных отражений и присоединиться к неодолимому самоопределению абсурда.

Поскольку зеркала разбиты, не остается ничего, что помогло бы нам дать ответы на поставленные эпохой вопросы. Абсурд в качестве методического сомнения представляет собой чистую доску. Он оставляет нас в тупике. Вместе с тем, будучи сомнением, он способен, обращаясь к собственной сути, направлять нас на новые поиски. Рассуждение продолжается тогда уже известным образом. Я кричу о том, что ни во что не верю и что все бессмысленно, но я не могу сомневаться в собственном крике и должен верить хотя бы в собственный протест. Первая и единственная очевидность, которая дается мне таким образом в опыте абсурда, это бунт. Лишенный всякого знания, вынужденный убивать или мириться с убийством, я располагаю только этой очевидностью, усугубляемой только внутренним раздором, в котором я обретаюсь. Бунт порождается осознанием увиденной бессмысленности, осознанием непонятого и несправедливого удела человеческого. Однако слепой мятежный порыв требует порядка среди хаоса, жаждет цельности в самой сердцевине того, что ускользает и исчезает. Бунт хочет, бунт кричит и требует, чтобы скандальное состояние мира прекратилось и наконец-то запечатлелись слова, которые безостановочно пишутся вилами по воде. Цель бунта — преобразование. Но преобразовывать — значит действовать, а действие уже завтра может означать убийство, поскольку бунт не знает, законно оно или незаконно. И бунт порождает как раз такие действия, которые он должен узаконить. Следовательно, необходимо, чтобы бунт искал свои основания в самом себе, поскольку ни в чем ином он их не может найти. Бунт должен сам себя исследовать, без чего он не будет знать, как правильно ему действовать.

Два столетия исторического или метафизического бунта дают нам возможность поразмыслить над ними. Только историк способен рассказать в деталях о сменяющих друг друга социальных движениях и доктринах. По крайней мере, он обязан найти в них некую путеводную нить. На последующих страницах будут проставлены лишь некоторые исторические вехи и предложена гипотеза, которая, впрочем, не в состоянии объяснить все

и не является единственно возможной. Тем не менее она частично объясняет направленность нашего времени и почти полностью — его эксцессы. Рассматриваемая здесь необычайная история есть история европейской гордыни.

Как бы там ни было, невозможно понять причины бунта, не исследуя его требований, его образ действия и его завоеваний. В его делах, быть может, таится то правило действия, которое не смог открыть нам абсурд, или по меньшей мере указание на право или долг убивать и в конечном счете созидательная надежда. Человек — единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть. Проблема в том, чтобы знать, не может ли такой отказ привести лишь к уничтожению других и самого себя, должен ли всякий бунт завершаться оправданием всеобщего убийства или, напротив, не претендуя на невозможную безвинность, он поможет выявить суть рассудочной виновности (1.120-126).

Цит. по: Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. — Ч.2. — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. — 1997. — С. 253 — 263.

Вопросы

Шопенгауэр

Почему счастье, по Шопенгауэру, носит отрицательный характер и не может быть объектом искусства?

Согласны ли Вы с философом, что наш мир — это обитель зла и страданий? Обоснуйте свой ответ.

В чем проявляется основное свойство человека — эгоизм? Можно ли его преодолеть?

Что, по мнению Шопенгауэра, лежит в основе мира?

Как воля проявляет себя? Почему, согласно Шопенгауэру, не следует привязываться к жизни?

Шопенгауэр считает, что жизнь человека полна страданий, в которых виновата воля к жизни, а значит ее надо уничтожить. Как возможно преодоление воли к жизни? Является ли самоубийство отрицанием воли?

Каково, по Шопенгауэру, соотношение необходимости и свободы? В чем проявляется свобода воли? Приведите примеры.

Э.Фромм

Согласно Э.Фромму, почему человеческое существование является проблемным?

Какие точки зрения имеются в отношении природы человека, и какова их аргументация? Человек волк или овца?

Как еще можно объяснить противоречие в поведении людей? Почему меньшинство волков живет бок о бок с большинством овец?

Почему овцы так легко соблазняются поведением волков? Может быть человек это и овца и волк одновременно или и не тот и не другой?

Какова сущность человека согласно философской концепции Фромма?

В чем заключается христианская точка зрения по этому вопросу?

Что повлияло на мышление Маркса и его последователей в этом вопросе?
Всегда ли это так? Действительно ли, изменив обстоятельства можно вернуть человека к добру, а не наоборот?

Существует ли опасность недооценки врожденного потенциала человека к злу?

Кто, по мнению Фромма, является главной опасностью для человека и почему?

Одинаковы ли чувства тех, кто с помощью кнопки лишает жизни миллионы людей и тех, кто штыком или пулеметом убивает?

Что означают «синдром распада» и «синдром роста»?

В чем отличие человека от животного, по Фромму?

В чем заключается познание человеком своего «Я»?

Смог ли человек достичь индивидуального самоотождествления?

Может ли человек оставаться душевно здоровым без чувства «Я»?

Итак, что же является одним из наиболее важных факторов развития человека?

Сартр Ж.-П.

Что, согласно Сартру, представляет собой «человеческая реальность»?

Как понимается свобода в философии Сартра?

Каково, по мнению Сартра, соотношение сущности и существования?
Задана ли сущность человека изначально?

Раскройте смысл понятия «интерсубъективность».

Как доказывает Сартр, что экзистенциализм – это гуманизм?

Ницше

Каково отношение Ницше к религии?

Можно ли считать, что религия является следствием заблуждений человеческого мышления и страха перед природой?

Содержит ли религия истину? Если да, то какого рода?

Создан ли мир Богом? Может ли человек создать Бога?

Прокомментируйте выражение Ницше «Бог умер»?

Как Ницше определяет человека? Назовите природные качества человека.

Каково отношение Ницше к войне? Для чего она нужна?

Почему, по Ницше, только сильные и злые люди способны сохранить род?

Что побуждает человека к тому, чтобы повелевать слабыми?

Почему мораль одного общества отличается от морали другого?

Как понимает Ницше моральность?

Кто такой сверхчеловек? Охарактеризуйте его.

Почему Ницше отвергает любовь к ближним?

Камю

Какое понятие является исходным философствования Камю?

Какую проблему Камю считает главной философской проблемой?

Можно ли решить вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы жить, противопоставляя «жизнь» и «жить»? Дайте Ваш ответ на поставленный Камю вопрос.

Как Вы думаете, этот вопрос рождается из сомнения в существовании жизни? Или этот вопрос есть выражение чисто субъективного понимания действительности как абсурда?

В чем смысл жизни согласно Камю?

Как Вы думаете, почему Камю назвал Сизифа абсурдным героем?

Какие преступления различает философ? Принимает или отвергает Камю убийство? Аргументируйте свой ответ.

Какой пример приводит Камю, чтобы доказать это?